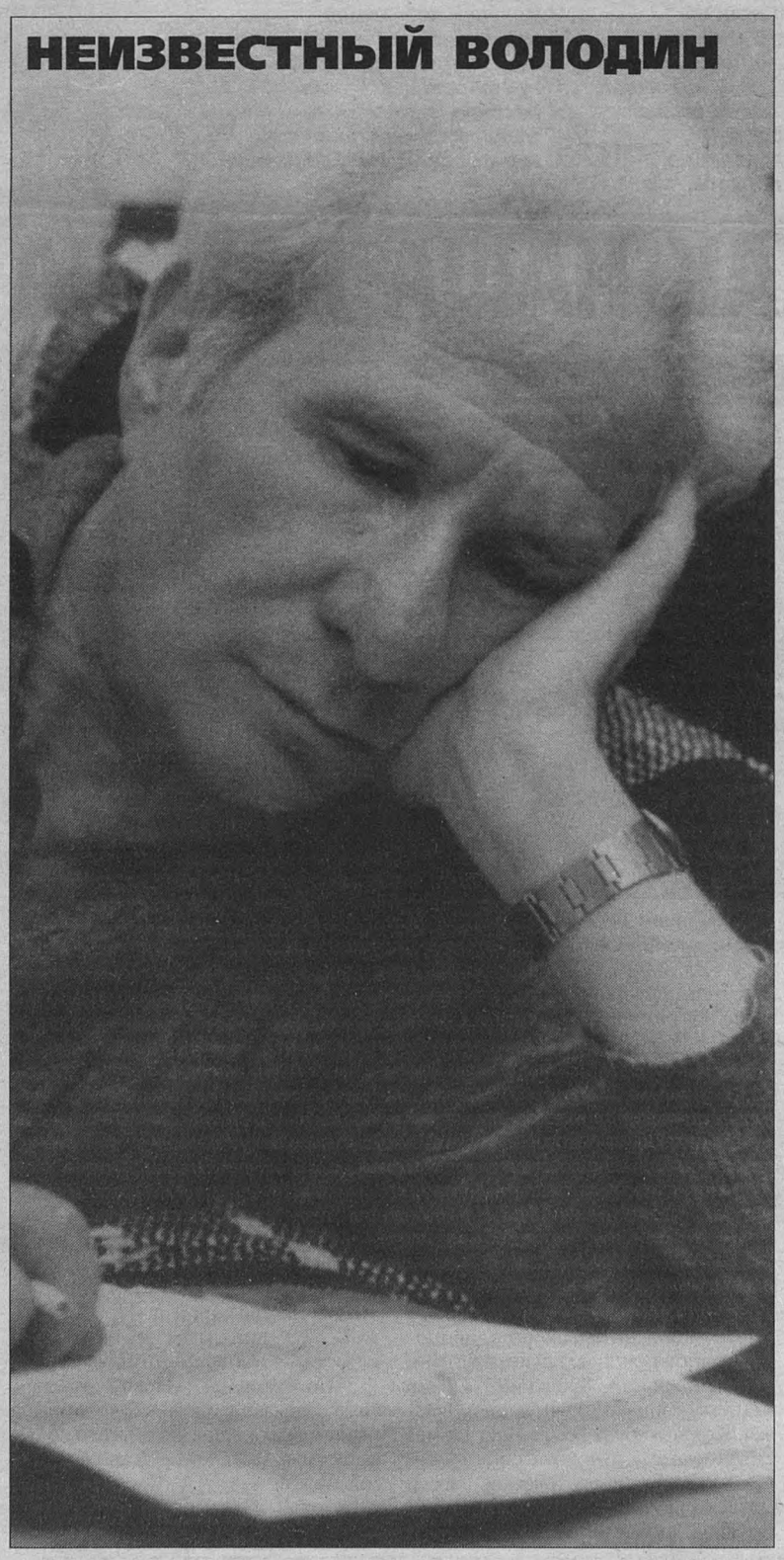
ТРАМВАЙ

НЕИЗВЕСТНЫЙ ВОЛОДИН



Вот так. Недругам, помогавшим меняться в поисках себя самого, — благодарность. Пусть типично володинская, когда лукавство растворено в простодушии. Зато против доброжелателей, объясняющих, что и зачем ты обязан делать в качестве прогрессивного литератора, — бунт!

И это снова — Володин. Только и именно он.

Из любопытства достал с полки книги, некогда мне им даренные, и рискую цитировать дарственные надписи (риск, хотя, думаю, несильный и непродолжительный, в том, что, глядишь, заподозрят намерение похвастаться). Итак: «Любимому Стасику». «Стасику — с неиссякающей надеждой на дружбу». Даже: «Стасик! Каждой вашей книгой я подолгу живу и на время становлюсь лучше»... Ох! Ко всему прочему — с какой это стати вдруг «вашей»? Вспоминается Довлатов, описавший свой разговор с Бродским: «В заключение он сказал: «Кажется, мы 20 лет были на «вы»?». Что х... Мы лет двадцать на «ты». Что с гения возьмешь?».

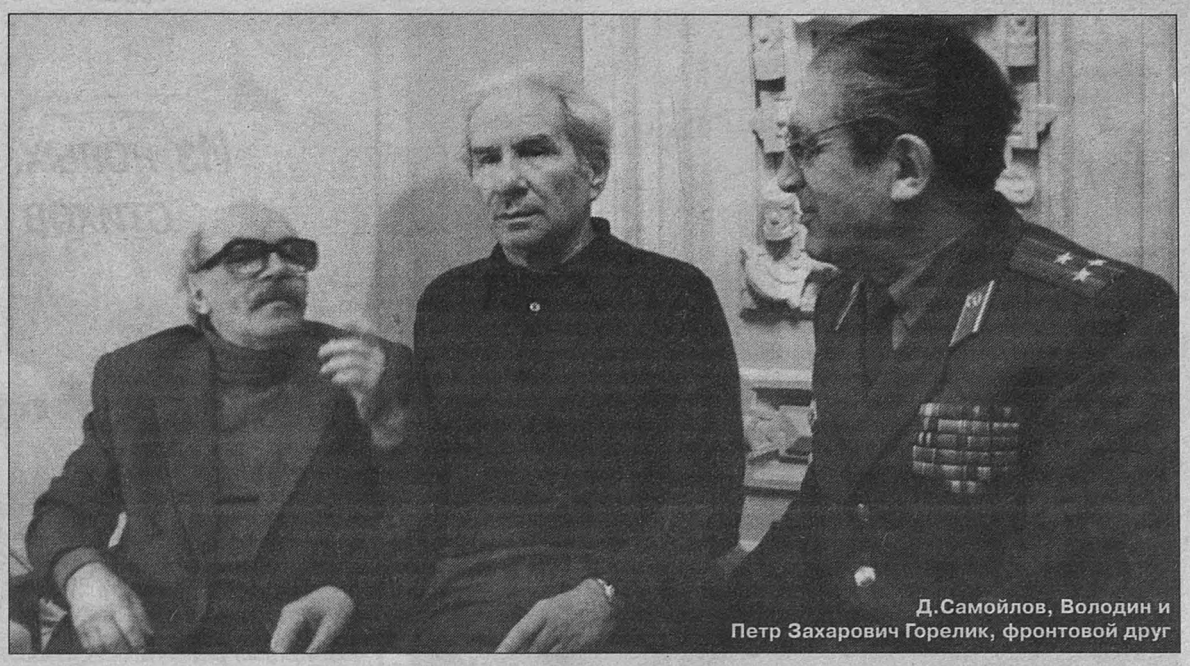
Я Володина нежно любил. Он — верю — хорошо ко мне относился. Но дружбы, надеждой на которую он, видите ли, будто бы жил, дружбы в ее, по Светлову, круглосуточном понимании у нас, разумеется, не было. **Такие** друзья у меня были свои, у него — свои, иногда совпадавшие. Вот что, однако, предположу со всей осторожностью, но без опасения чересчур ошибиться: даже и для самых близких он был неуловим, как сказочный Колобок. Хотел быть неуловимым, желая близости, но и опасаясь ее как формы зависимости.

Оттого: «Я ни с кем не воюю. Я воюю только с собой», — ощетинится зубной врач Чесноков, чья профессия выбрана вроде бы, с тем чтоб не возникло прямой аналогии с художником слова Володиным. Хотя, с другой стороны, и это демонстративное целомудрие отдает тем же лукавством: чем дальше, тем ближе. К тому ж не уйти от сравнения со строчками Пастернака, обращенными уж точно к себе, к поэту: «С кем протекли его боренья? / С самим собой, с самим собой».

У Володина есть прелестный рассказ, как после демобилизации (провоевав рядовым, получив ранение) он решил поступить в Институт кинематографии. «Перед экзаменом по специальности я досыта наелся хлеба (какой-то поддельный, он был сладкий). Задание было — написать рассказ, однако с непривычки к такому количеству хлеба я почти сразу почувствовал, что меня тошнит.

Преподаватель... обратился к поступающим:

— Что вы делаете — сразу пишете? Вот посмотрите на него. Он думает!



Д.Самойлов, Володин и Петр Захарович Горелик, фронтовой друг

Думал же я о том, что меня тошнит».

Короче: «Шура Лифшиц» (как в соответствии с родовой фамилией его назовет в нежном стихотворении Булат Окуджава) уходит, едва успев набросать одну страничку. А придя забрать документы, слышит, как старшекурсницы разносят сенсацию: «Какой-то парень, солдат, написал потрясающий рассказ, всего одна страница, все в подтексте».

Выглядит прологом к тому, как будет восприниматься володинское творчество: он всегда писал текст, а у него искали подтекст. И вписывали в контекст.

Один из наиболее чутких, нервных художников, Володин, страдавший оттого, что даже благожелателями воспринимается как-то не так (не смешно, что он мне как-то признался: первотолчок чесноковского бунта едва ли не против всех — его, володинское, раздражение на весьма почтенную критикессу, взявшуюся выстроить его линию поведения), он выстрадал отвращение к понятию «воля». Даже преследования его пьес со стороны «недругов», возглавлявшихся властью, отступали для него перед вопросами экзистенциальными, касающимися самóй природы человеческого существования. Отчего неприязнь к носителям воли, искажающей первоначальный замысел бытия, у него внесоциальна. Тотальна.

«Волевые люди подавляли Бузыкина» (естественно, «Осенний марафон»). «Боюсь волевых людей», — скажет интеллигент, сыгранный в фильме «Дочки-матери» Смоктуновским, и, подумать, не кто-то при силе и власти, а девочка-детдомовка Ольга, сиротству которой Володин готов сострадать, окажется — по крайней мере, в сценарии, а не в фильме Сергея Герасимова — страшноватой в бестрепетной готовности вмешиваться в чужие судьбы. Все тот же Чесноков вообще восстанет против воли друзей, по побуждению доброй, но — **воли**, как позже сам Володин порвет даже с профессией, даже с сословием, объявив в ярости и отчаянии: «Сцена? Тошно, тошно! Потом стал тошен и экран».

Самое невинное, в форме всего только журналистского любопытства, вмешательство в его работу и жизнь — невыносимо:

«— Над чем вы сейчас работаете?

— Ни над чем не работаю... Пью больше».

Как у Мандельштама в гениально-бешеной «Четвертой прозе»: какой я, к черту, писатель? Пошли вон, дураки!..

Тут прикасаюсь к теме весьма щекотливой. Даже болезненной. Помнится, общий наш друг прекрасный прозаик Израиль Моисеевич Меттер написал мне со скорбью: «Шура — пьет!». А я, читавший прозу «Шуры», вызывающе озаглавленную «Записки нетрезвого человека» (в первом издании, в библиотечке «Огонька», — «Одноместный трамвай»), глубокомысленно отвечал, что, дескать, да, оно вроде бы нехорошо, но вот что способно отчасти утешить. Если художник единожды выбрал свой путь, ни разу с него не свернув, то — судя по тем же «Запискам...» — даже такое средство, как алкоголь, выходит, способно дать ему какие-то новые импульсы. Или не так?

Пьянство как возможность забыть о дурной реальности, что говорить, дело испытанное. Но обычно это побег в никуда — не только от скверной жизни, но и от творчества, от себя; тут же была попытка обрести свободу именно творческую. (Сказал бы — уникальная, если б не Веничка Ерофеев.) Обрести — надолго? Нет. Потому для Володина уже не было возврата в драматургию, в профессию, а Ерофеев, создатель двух несомненных шедевров — «Москва — Петушки» и «Вальпургиева ночь», — в сущности, этим и ограничил себя. Слухи о прочих свершениях преувеличены либо вовсе недостоверны.

Сама володинская «нетрезвость» варьируется в «Записках...» то этак, то так. Прозвучит гурманской одой сомнительному кофейному ликеру. Предстанет картинкой былых нравов — как он, выступая в школе рабочей молодежи в качестве «начинающего писателя», не скроет от любопытствующих своего отношения к травле Пастернака и Дудинцева. В результате чего в райком поступит донос от учительницы, которая для пущей дискредитации его морального облика добавит, что «он был нетрезв».

«— Что ты пил-то? — спросил секретарь райкома.

— Стакан красного вина и пиво.

Тут работники райкома оживились.

— Кто же это вино с пивом мешает!

— Водку нельзя с пивом мешать, а вино — еще хуже.

— Вот даже коньяк можно с шампанским. А вино с пивом — никогда.

И, поняв, в чем заключалась моя оплошность, письмо порвали, а меня отпустили».

А то еще: «Стукачи, выньте карандаши и блокноты! Я за свободу, демократию и Чехословакию!» — мог Володин — конечно, в роковом для чешской свободы 1968-м — выкрикнуть в переполненном ресторане, и с рук это сошло, быть может, по той же причине: мало того что в России снисходительны к пьяным, но сама советская власть, со времени Сталина подраспустившаяся, могла поглядеть на традиционный национальный порок как на форму социальной близости. Подобно родному способу выражаться, невзначай испробованному Володиным, когда министр культуры запрещал готовый спектакль «Назначение»: «Вбивается клин между народом и правительством».

«Тут я не сдержался, невольно как-то получилось, да при женщинах еще:

— А ну вас к е... матери.

И ушел. По пути еще стало стыдно, тяжело. Больше года люди работали, а я все загубил. Звоню Олегу (Ефремову. — **Ст. Р.**).

— Прости, — говорю, — ради бога!

А он:

— Что ты, Саня! Все было прекрасно!».

Оказалось, озадаченное начальство вдруг дало слабину, пошло на попятную. Вдобавок «иначе по городу слух бы пошел, что ты их обложил и вот они обложенные ходят».

Смех смехом, если до смеха было **тогда** (хотя, как видим, смеялись-таки — те, кто имел гордую силу смеяться), но такому-то вольному, в частности на язык, человеку — искать еще и новую стадию раскрепощенности? И таким способом?! Вопрос тем не менее глупый: не искать Володин не мог. А уж как, каким таким образом...

«Началось с того, что однажды утром, когда, как обычно, одолевали черные мысли, я, чтобы снять напряжение, принял рюмашку-другую. Что неожиданно толкнуло меня к пишущей машинке. И вот стал выстукивать отдельные соображения и воспоминания. С тех пор и пишу это преимущественно в нетрезвом состоянии.

Дело в том, что в состоянии трезвом я то и дело поступаю глупо и пишу так, что потом стыдно, но уже поздно».

Вспомним: «Не позорьте себя, не позорьте меня!.. Олег, не получилось»...

Как бы то ни было, начала возникать удивительная проза, в которой достигнута раскрепощенность на рискованно тонкой грани распада, — вот, в духе Поприщина, вызывающее начало «Записок...»: «Все с ума посходивши. Все с ума посходивши. Все с ума посходивши. Все посходивши с ума. Проба пера». Тот неявный абсурд жизни, что был полураскрыт в «Пяти вечерах» и «Старшей сестре», откровеннее проступив в «Осеннем марафоне» и «Назначении», стал уже подлинной литературой абсурда. В своей неожиданной — так ли, однако? — прозе Володин говорит о себе, о своих «комплексах» и душевных закоулках с той мерой самовыворачивания, которой исподволь учила его драматургия. Область, где самое сокровенное можно стыдливо доверить полифонии, разложив на голоса, но где — по той же самой причине — исповедь может быть только косвенной. Что Володину надоело: «Тошно, тошно!».

А бороться с собою — самое трудное. Тут уж поистине дьявол с Богом борются — без посредников.

...Великий драматург, что, кажется, общепризнано. Но и автор прозы, в которой предполагаю прообраз прозы будущего, что обычно мы необдуманно связываем с физической молодостью авторов, то есть с фактором биологии. А она, эта самая проза будущего, смею надеяться, будет отличаться свободой, подчас внежанровой, в сочетании с непременной душевной зрелостью. И неутоляемой честностью, вплоть до беспощадности к себе самому, — как у Александра Володина, без намерения скаламбурить, трезвейшего из писателей.

● Фотографии из архива «Новой газеты»